Евгений **КОНОВАЛОВ**



Родился в 1981 году в Ярославле. Кандидат физико-математических наук, преподаватель Ярославского государственного университета им. П. Г. Демидова. Стихи публиковались в журналах «Знамя», «Новый берег», «Урал», «Пролог», «Вечерний гондольер», «45-я параллель», а также в региональных периодических изданиях и коллективных поэтических сборниках. Представлен в литературных антологиях «Пролог. Молодая литература России» (2005), «Новые писатели» (2009). Лауреат межрегиональных фестивалей современной поэзии «Logoрифмы» (2007, 2009), конкурса им. К. Васильева (2010). Специальный приз жюри І межрегионального турнира поэтов (Пермь, 2008). Полуфиналист и финалист ряда сетевых международных литературных конкурсов. Участник пяти форумов молодых писателей России (2004—2010). Стипендиат Федерального агентства по культуре и кинематографии (2008). Автор книг «Беглость речи» (2005), «Стихотворения и поэмы» (2011).

«По канату сплетенных стихотворений»

Ars poetica

Так мальчик голубиной шеей заворожен, так атлеты бегут по стадиону амфоры, так на аэродром садится алюминиевый дракон развернутой во времени и пространстве метафорой.

Инструмент ли ты языка, копье ли, брошенное одиночеством в небеса и летящее слепо к неизвестной цели? — Примеривайся, пока ледяная безлюдная ночь черства, как горбушка черного хлеба.

Только зрелищ! Запоминай, как просвечивает наряд осеннего клена — обряд похоронный — мурашки по веткам, как тени от слов на листах дрожат под мистическим ветром.

Вот она наступает по всем фронтам, в руках у нее города и эпохи дышат любовью, гневом и алыми сполохами, — а писаки нам плачутся, как дела ее плохи.

Поэзия не следит за журналами.

Ей важней, что липы в белых гольфах — совсем как ряд первоклассниц с букетами окрестной сирени; что бродячие псы исподлобья на прохожих глядят с мученическим смиреньем; что однажды шагнул — и нет пути назад

Обнял воздух — и шею готов сломать, истребителем заходишь на цель, от восторга с ужасом одуревши, — а все не стать молодеющим ангелом Сведенборга.

по канату сплетенных стихотворений.

Время расправляет пергамент и показывает то прах, то дым зазывалой-фокусником — на устах елей, — обманывая старцев полигамной славой, давая на чай молодым.

Поэзия не помнит своих создателей.

Зачем же идти на амбразуру слов, проживая и быль и небыль; зачем верхушки березовых стволов по шахматной доске проходят в небо; зачем до рези в глазах ты готов несказанное видеть одетым рифмой нелепой?

Искусство поднимать себя за волосы — вот то, что присуще нам — фотосинтез по выдаче в одни руки, — чтобы грубое словесное долото контур темного воздуха могло выточить.

На распродаже подержанных факелов получать удостоверение в испытанной благодати; или знать, как посмеивается сквозь печаль несговорчивый демон Сократа; или стать сосной, горящей в лучах собственного заката.

Ночью шевелятся иглами волосы на голове, утром хлебнул росы и забываешь, кто ты, — не пророк, но уверовавший в себя человек обживает молчания зияющие пустоты.

Вот и все призвание. Ради бога, обойдемся без Бога — строк, полей и заглавий. В такой дыре мудрено отыскать к нему дорогу, одной ногой в античном акрополе, другой — в буддийском монастыре.

Переполняет чернильная вода кувшин из белого дерева, раз навсегда — разбей его.

* * *

Из коньячного дыма уходя поутру, в снежный ветер лицо окуная, — так и спрыгнуть с ума, прямо за отбивающимся от рук чугунным хвостом трамвая.

Он мигает спросонья, а все везет — полупьяный ямщик — искры сыпятся под вожжами на того, кто хохочет в небо, спутав никотин и азот, и ноги над рельсами поджимает.

Синева обжита ослепительным февралем, ледяными фуражками крыш, галочьим воплем; но вчерашний мир вписан в этот же окоем, столь же фантастичен, как и отчетлив.

Это — черный от тоски капитан, это — радиограмма лестничного пролета в космос, это — под потолком тает призрачный капитал быта и содружества одиноких матросов.

Трамвай ли, корвет — режут пространство там, где последняя ночь, как любовница, своенравна, где мешаются исповедь и бедлам с налитой в окна белесой ранью.

А у нас под рукой только время, вот и рискни снова впасть в полоумную юность, такую долгую — взмах изумленных ресниц, и как пуля — шальную.

* * *

Немота, немота, немота, мгла тревожная, шелест последний обрывается ветром, ласкающим кожу листа, или эхом столетий.

Теоремы доказывать, спорить, грешить, речью портить и воздух бесшумный и введенное время, — не чувствуя сквозь чертежи льдистой кальки безумья.

Ясень врос в перекрестье окна сетью пальцев, нащупал впотьмах неживое и упорствует, — так внутри нас прирастает она одиночеством, шепотом, воем.

А ребенок все лепит ее из песка, а любовники ищут на фоне постели, а случайно услышал морфемы ее языка — и виски поседели.

Гроздья страха на ветках висят, оттого-то и сладок плод любой, оттого-то и хочешь числом на весах с гордой немощью сладить.

Ну, так нотою выше! Один утлый голос привыкнет и к этой немоте за окном, где пейзаж залетейских равнин снегом залит, как светом.

Хризантема и меч

Юкио Маэда разящий удар наносит своим мечом, не думая ни о чем.

Его сердце молодо, разум стар стариной горного озера, чью поверхность не искажает зыбь, — там, где в трусости растворяется верность, и холмы заливает победный призыв бесчисленных Тайра. Он остался последним, кто еще продолжает бой, окружив себя гибельной и сверкающей стеной двух клинков. Мастер кэндо и дзен абсолютно спокоен, и с самого утра на него нападают по двое и трое.

Начиная слабеть от ран,
Юкио Маэда погружается с головой
в созерцание сосен над цепью далеких гор,
он смотрит на них в упор,
как равный. Меч сросся в одно с рукой,
всей плотью, еще не превращенной в останки,
а из мерцающей внутренней пустоты
рождаются строки танка.

— Самурай Минамото, как можешь ты, каменный идол невозмутимости, видеть вязь иероглифа в полете бабочки над дурманом безымянной зелени, превращенной в грязь и кровь под бой барабанов, — там, где не рано ли вообще что-то чувствовать, стремясь в бесстрастную тупость нирваны?

Влажный от слез рукав примет аромат лилий и отблеск луны сквозь дырявую крышу в хижине отшельника.

Жемчуг росы превращается в пар. Одних нападающих сменяют другие.

Вежливо улыбаясь, Юкио Маэда наносит новый удар мечом, алым от страшной жатвы, бессмысленной, бесчеловечной вдвойне на проигранной войне.

— Самурай Минамото, любой Бодхисатва назовет тебя не воином, а палачом божьей милостью, бескорыстным убийцей ближних, едва ли виновных в том, что их, как водой, заставляют напиться гибелью под холодным мечом, не знающим жалости, не различающим лица!

Кусты диких роз не испытывают ненависти к тем, кто ослеп от желаний; но попробуй нарвать цветов — и будешь исколот шипами.

Нечем дышать в полуденный жар. Одних нападающих сменяют другие. Вежливо улыбаясь, Юкио Маэда наносит новый удар мечом, уже дрожащим в его руке, как огромная гиря вселенной, висящей на волоске.

— Самурай Минамото, что сказать тебе миру, устрашенному встречей такой, кто припев твоей смерти подхватит со дна долины, или сеятель горя всех презирает, как лев презирает добычу, лежащую наполовину живой перед тем, кто стоит, преуспев не в мастерстве, а в гордыне?

Изо всех сил растут стебли хризантем, чтобы успеть вынести свой бутон на солнечный свет и смерть.

Истоки любви — за цепью далеких гор. Путь открытого сердца — один не случаен. Не истину, а молчанье рождает спор.

Опускаются на глаза покрывала тьмы. Замедляет бег колесо сансары. Дхармакая ждет мастера дзен. И мы все скоро узнаем за переплетом старой летописи, что скажет на это нефритовый государь, ну а пока Юкио Маэда нанес последний удар.

Postscriptum

Костюм из свежих газет с лацканами шевиотовых сплетен заказывает себе на обед блокбастер и триллер в омлете рекламы, мюсли новостей из жизни ворюг, грудастых клипов не то шейк, не то стейк брызжет кровью, гламуром и липой.

Что остается сказать?

Даная Рембрандта смотрит на дождь так, словно речь о жизни и смерти, словно бог возникнет, как только в него поверите, а вокруг обнаженного тела струится мрак.

Поднимаются из траншей метро акриловые сабли на пальцах, и муза выбирает мишень, то есть хромированный панцирь отеля «Парнас», где живет бог искусств и продюсер народов, где услужливые фотошоп и ай-под заменяют рифмы, цвета и ноты.

Что остается сказать?

Даная Рембрандта смотрит на дождь так, словно капли с бликами солнца — великое чудо, уводящее в никуда, пришедшее ниоткуда, а вокруг обнаженного тела струится мрак.

Девять ши о гордости и смирении

1

Обосновался один у подножия лесного холма. Общество сосен предпочитаю людскому. Преисполнился мудрости или сошел с ума — кто сообщит мне, раз никого нет дома?

2

У Брехта Ду Фу говорит, что недуг гордыни плохо лечится отшельничеством. Пусть так, но на покрове смирения быстрее ли складки застынут в толпе, где его задевает любой пустяк?

3

И дружба и любовь наталкиваются на разность людей. Не отсюда ли растут соперничество и ревность? Не так ли обида ожесточает сердца — тем сильней, чем дальше зашла в разделенном чувстве потребность?

4

Любые руки грубы.
Их прикосновения ранят
и готовы присвоить
все сокровенное в нас.
Уходить от любовницы
не лучше ли сонной ранью
и с пирушки друзей
незаметно сбегать через час?

5

Ожесточенное сердце глухо к добру и злу и заранее знает ответ на любые просьбы. Не здесь ли пароль, открывающий дверь послу гордости — в ту страну, где непреодолимо врозь мы?

6

Нет ни добра, ни зла в темном лесу субстанций или в виде значков на скрижалях старинных догм. Зло и добро — кругом. На остановке метро, в медленном танце, из-за угла старухой, по слякоти идущей с трудом.

Как различать их? Скрыты за сотней ли желания ближнего или набрасываются всей оравой? Внезапный порыв сердце почувствует ли до первой мысли, правой или неправой?

8

Спонтанное «да» ставить всего превыше. Спонтанное «нет» воплощать отказом любым. Чуткости обучаться по голосам или стуку шишек, но независимости лишь под холмом лесным.

9

Беседую с соснами. Науку мотаю на ус. Редкий прохожий, увидев лицо или спину, гордецом назовет смиренно в ответ соглашусь, отметит смирение голову гордо вскину.

* * *

C. E.

Больше светлой печали! Еще одиночества под небесами с остановленным временем — в счет неслучившегося между нами.

Перечеркнутых судеб листы ускользают меж пальцев, шелестят: «Только ты, только ты не летишь, а застыл постояльцем».

Холст предзимья, как выцветший тюль, загрунтованный воздухом— серым на просвет. Смуглолицый июль если был здесь, то напрочь утерян.

Не ученье ли смерти кругом? Не намек ли заботливой силы, заходящей в прижизненный дом, для репризы могильной?

Вот и аудитория лип с тополями притихла, готовясь различать в выражении лиц той же силой внушенную повесть.

Что еще в ней дано угадать звуку, полному жизни, а затем — уходящему вспять за поля глуховатой отчизны?

Как уметь претворить и ее голоса? Что в конце, что в начале – одиноким бесстрашием. Ну а еще лучше — светлой печалью...